

**О ПОВЕСТИ Г-ЖИ КОХАНОВСКОЙ
«ПОСЛЕ ОБЕДА В ГОСТЯХ»
В 16 № «РУССКОГО ВЕСТНИКА»**

Среди множества повестей, поставляемых в журналы, редко встречаются такие, на которых бы внимание могло остановиться долее того времени, какое нужно на прочтение их. Хотя бы повесть была подписана и известным именем в литературе, — все же заранее знаешь и приемы и направление, раз высказавшиеся, знаешь весь состав повести и даже относительное количество входящих сюда составных частей, — так что никакого труда не стоит тут же разложить химически *создание* современного сочинителя повестей и романов, потому именно, что это не создание, а состав, сделанный с большою ловкостью и изредка с талантом.

Тем приятнее было встретить неожиданно рассказ, отличающийся от прочих произведений в этом роде. Мы говорим о повести «После обеда в гостях», помещенной в 16 № «Русского вестника» нынешнего года. Эта повесть так замечательна, что мы не можем удержаться, чтоб не сказать о ней несколько слов.

Прежде всего останавливает нас значение содержания самой повести, значение чисто внутреннее, психологическое. Одно уже это содержание обличает в сочинительнице необыкновенную глубину взгляда и понимание нравственного мира. Вот в чем дело. Молодую девушку против воли выдают за-

муж (случай, к сожалению, нередкий и не нуждающийся в осуждении), и ее душою овладевает ожесточение, ожесточение страшное, безжалостное, свирепое. Душа оцепенела, и молодая женщина равнодушно смотрит на горькие слезы терзающейся матери, только тут понявшей, что она сделала, на мучения мужа. Жалости, сострадания, любви нет места в этой ожесточившейся душе. Когда мать, провожая молодых, стала по обычаю потчевать их блинами и слезы у нее капали на тарелку, — «солono будет масло, матушка», — говорит ей молодая женщина. Всякий, кому пришлось бы встретить в своем ближнем такое страшное, неподвижное состояние души, как бы схваченной судорогою, как бы застывшей в холодном озлоблении, понял бы, что при таком состоянии, при таком полном исключении любви и добра, — нет той жестокости, перед которою остановился бы человек, нет того раздражающего положения, того сострадания, которое могло бы умилить, подвигнуть на жалость. Это — не раздражение, не увлечение гнетом, это — холодное озлобление, оцепенение души. Понятно, что такое состояние далеко ставит человека от учения Христа, ибо это состояние есть исключение любви из души человеческой, а стало быть, и исключение учения любви. Молитва невозможна; она может исполняться лишь наружно, как церковный обряд. Как, с ненавистью в сердце, молить бога, который есть любовь? — «Даже от господа бога отступилась (так рассказывает сама эта женщина в повести)... Не могу я богу молиться, да и не могу, вконец не могу. Стану перед образами, да как положу на себе крест, уж он мне тяжел, тяжел показывается... так я постою и отойду...» Долго оцепенела в этом ожесточении молодая женщина, и опять то же божественное учение пришло само к ней, чтобы пробудить в ней чувство любви и открыть затворенный самим человеком путь к своему Спасителю, путь, невозможный без любви. Однажды, сидя у окна, молодая женщина увидела, что под ее окном на завалинке сидит нищая или, лучше сказать, странница; она подала ей милостыню по обычаю, но странница заметила ее горе, заговорила с ней своею простою речью, и слова ее хотя глухо, но отозвались в ее душе. — Лицо это выведено с удивительною мерою, без малейшего усилия и приторности, во что так легко можно было впасть. И вот между молодою женщиною и странницею образовалась тайная связь и шли тихие беседы, которые, хотя не касались самого дела, но, по крайней мере, шевелили душу молодой женщины. Встреча с странницей только потрясла это ожесточение; душа колебалась, но прежнее состояние еще не прошло. Молодые супруги, прожив с год таким образом, едут к матери. Тут дорогой молодой женщине, в душе которой шла какая-то тревога, захотелось пройтись, и она вышла из по-

возки; нужно было переходить через плохой мосток; муж хотел поддержать жену, но жена бросилась в сторону от мужа, не удержалась и упала под мосток; она не ушиблась, но муж был объят ужасом и мучением; молодой женщине стало жалко его. Едучи потом на повозке, она взглянула на мужа и в первый раз *увидала* его страдальческое лицо. Вдруг как бы завеса спала с глаз; услышав прикосновение духа любви, душа вся потряслась, и хлынул поток слез, в котором разрешилось ожесточение. Каков должен быть плач вновь наполнившейся любовью души после такого полного отсутствия любви, после такого страшного ожесточения! Это был *великий плач*, как выражается в повести сама рассказывающая свою историю женщина. Долго обнимала жена своего мужа, долго не прекращался плач ее. Душа воротилась в мир любви, в человеческое братство. И глубокая взаимная любовь и счастье мужа и жены венчают этот подвиг душевный.

Это событие, совершившееся в душевной глубине, случилось не с развитой, образованной женщиной. Подвиги душевные не нуждаются в аристократии породы или сословия, ни даже в аристократии просвещения или ума. Они совершаются часто в душах людей, стоящих невысоко на лестнице общественного отличия, даже общественного образования. Событие велико, а обставлено такою простою, обыкновенною обстановкою, которая, пожалуй, смутит иного модного читателя. Но это-то нам и нравится; перед нами не светская княгиня, не развитая женщина с притязаниями на глубину понимания, а простая девушка, бедная дворянка, соприкасающаяся с мещанским обществом, Любовь Архиповна. Здесь как бы еще сильнее чувствуешь всю силу самого дела, не объясняемого, не рефлектируемого, не истощающегося во фразах, а являющегося во всей целостности и простоте, в рассказе, подчас тривиальном, бедной дворянки, красавицы мещанского круга. Впрочем, едва ли светская дама, если и способна к бездушию, являющемуся вялым плодом долгой, изнурительно пустой светской жизни, может быть способна к такому раскаянию.

Ложна мысль, что будто от положения, от места, занимаемого человеком, зависит великость добра и величие подвигов: общественных, может быть, — но не личных. Как бы ни было низко общественное положение человека, как бы ни был тесен круг деятельности, — для души предстоят все великие вопросы, вся возможность и неизмеримость добра и все величие подвигов, ибо все это есть дело внутреннее, дело духа нашего, для которого везде открыто бесконечное поприще, не знающее внешних стеснений. И тот, который говорит: «Как жаль, что его положение тесно для личной деятельности добра», — говорит неправду и с переменною поприща ничего бы, конечно, не сделал.

Среда, взятая в повести нашей сочинительницею и так прекрасно ею изображенная, сама по себе замечательна; это — мелкое дворянство, граничащее с мещанством. Быт, конечно, испорченный, но в котором, однако, много еще русской жизни. Конечно, это еще не та народная сфера, которою обладает лишь крестьянин, однако влияние ее сильно здесь слышно и дается чувствовать, несмотря на испорченность описываемой сферы. Что в особенности является в этой жизни и что чисто русское явление — это вольная беззаботная жизнь девушки (неотъемлемая, характеристическая черта славянского мира), — и песня. — Мы не разбираем повести, мы пишем только отзыв о ней (не отозваться мы не могли), и потому не говорим подробно о живой картине этого быта, — быта, несмотря на его испорченность, русского, с его глубокими нравственными основами и с его весельем жизни.

Про повесть г-жи Кохановской «После обеда в гостях» мы можем сказать, что это — русская повесть, хотя среда ее и не есть чисто русский быт. Этого не можем мы сказать о повестях г. Григоровича и других, хотя предмет их — крестьянин, который в настоящую минуту один, по нашему мнению, может назваться вполне русским человеком. Но не от предмета художественного произведения зависит принадлежность его к народности, к явлениям народного творчества (без чего не может иметь оно и общечеловеческого значения), а от духа самого произведения.